

МАТЕРИАЛЫ О ДАНИИЛЕ ХАРМСЕ И СТИХИ ЕГО В ФОНДЕ В. Н. ПЕТРОВА

Публикации А. А. Александрова

1

Историк русского искусства и художественный критик Всеволод Николаевич Петров (1912–1978) родился в Петербурге в семье профессора хирургии Н. Н. Петрова, основоположника отечественной онкологии.

«По окончании среднего образования в 11-й советской трудовой школе Ленинграда в 1929 г., — вспоминал В. Н. Петров, — я поступил на историческое отделение факультета языка и материальной культуры Ленинградского государственного университета. Время для учения было не очень благоприятным. Факультет часто изменял учебные программы и перестраивался, а в 1930 г. был переименован в Ленинградский институт литературы, философии и истории — ЛИФЛИ».¹

Закончив ЛИФЛИ, Петров стал научным сотрудником Русского музея. Он оказался среди выдающихся представителей ленинградской школы искусствознания. В музее — еще в довоенное время — сложились и научные интересы Петрова, направленные на выявление национального своеобразия русского искусства. «Немалую роль в формировании личности В. Н. Петрова, — пишет историк русской художественной культуры Д. В. Сарабьянов, — сыграло общение с поэтами и писателями — А. А. Ахматовой, М. А. Кузминым, Д. И. Хармсом. В. Н. Петров всю жизнь как бы искал интересных людей, и они щедро делились с ним своей дружбой, своими мыслями и опытом».²

¹ Петров В. Н. Очерки и исследования. М., 1979. С. 290.

² Сарабьянов Д. В. Об очерках и исследованиях В. Н. Петрова и об их авторе // Петров В. Н. Очерки и исследования. С. 8.

Во время Великой Отечественной войны Петров служил на Ленинградском фронте. После окончания войны он продолжил свои искусствоведческие занятия, написал ряд очерков по русской скульптуре XVIII в., исследование о «Мире искусств» для многотомной «Истории русского искусства».

Долгие годы Петров был заместителем председателя секции искусствоведения и критики в Ленинградском отделении Союза художников РСФСР. Перу Петрова принадлежат художественно-критические статьи и книги о творчестве советских художников (Ю. Васнецове, В. Лебедеве, В. Конашечиче).

Последние годы Петров работал над «Книгой воспоминаний». Мемуарист ставил перед собой и художественную задачу — создать галерею литературных портретов замечательных людей, с которыми он встречался. Книга осталась ненаписанной. Автор успел закончить три главы: о художнике Н. Тырсе, о поэте М. Кузмине, об искусствоведе П. Пунине и А. Ахматовой.³

Глава о Хармсе не доведена до конца. Мемуарист начал писать ее, когда стали появляться первые публикации «взрослых» произведений Даниила Хармса. Роль первооткачка сыграли и воспоминания Алисы Порет о Хармсе, распространенные в машинописи по Ленинграду в конце 60-х годов.⁴

Записки Порет явились по существу первыми развернутыми воспоминаниями о Хармсе. Художница легко и остроумно описывает эксцентричные чудачества Хармса, его бесчисленные розыгрыши (вдохновительницей в большинстве случаев была сама Порет, о которой Хармс писал, что она «хитрее Рейнеке-лиса»). Но в этих описаниях, так увлекавших мемуаристку, включенных в рассказы о развлекательной эксцентрике творческой интеллигенции Ленинграда в конце 20-х годов, крайне своеобразная и глубокая натура Хармса делалась обычной, разве что тривиально чудаковатой.

Петров пишет о 1939—1940 гг. Пора эксцентриады закончились. Да и ту мемуарист понимал не так, как Порет. Для него Хармс — человек не внешней оригинальности, а прежде всего художник, создавший свою систему творчества и жизни. Заметим, что в таком подходе отразилась общая реакция ленинградских друзей Хармса на воспоминания Порет.

³ Воспоминания Петрова о Тырсе и Кузмине опубликованы в кн.: Панорама искусств. М., 1980. № 3. С. 128—161.

⁴ См.: Порет А. Воспоминания о Данииле Хармсе // Панорама искусств. М., 1980. № 3. С. 347—359.

Ценность воспоминаний Петрова состоит в том, что помимо выразительных подробностей быта Хармса они знакомят с эстетическими представлениями писателя. К моменту знакомства с Петровым Хармс заканчивал цикл «Случаи» и работал над повестью «Старуха». Не случайно именно эти произведения, переписанные Петровым с автографов, хранились затем в его личном архиве. В конце 30-х годов алогизм по-прежнему оставался основной «хармсовой единицей», по собственному выражению писателя. Но вперед выступили новые личины, социально заострились ситуации. Миф стал молвой, фантастика — бредом, слышней стал голос отчаяния.

Для понимания нового этапа эстетики Хармса интересно свидетельство Петрова о своеобразном манифесте, вывешенном в комнате писателя. Он назывался «Список людей, особенно уважаемых в этом доме». «...из них я помню Баха, Гоголя, Глинку и Кнута Гамсуна», — пишет мемуарист.

Фамилии композиторов не могут вызвать удивления у тех, кто хоть немного знаком с биографией Хармса. Писатель не имел специального музыкального образования. Но, обладая абсолютным слухом, он играл на многих инструментах, был частым посетителем концертов в филармонии. Во многих произведениях Хармса развитие темы и построение словесных рядов как бы отражают особенности музыкальной композиции. Нечто сходное можно наблюдать в творчестве поэта крайне далекого от Хармса — Бориса Пастернака.

Первым в списке Петров называет Баха. Интерес к музыке немецкого композитора неуклонно возрастает в первой трети XX в.

Замечательным пропагандистом творчества Баха в культурной жизни Ленинграда был профессор Консерватории И. А. Браудо, с которым Хармс был знаком. При Ленинградской консерватории был организован семинар по изучению наследия Баха. Деятельным участником семинара стал Я. С. Друскин (1902—1980), близкий друг Хармса в предвоенные годы. По просьбе Хармса Друскин не раз исполнял произведения Баха на фисгармонии, находившейся в комнате писателя. Исполнял Баха и сам Хармс.⁵ Глубокое духовное содержание музыки великого композитора, возможно, было для писателя контрастирующим фоном по отношению к рою городских жильцов, изображенных им в цикле «Случаи».

⁵ См. письма Хармса к Б. Житкову в кн.: *Хармс Даниил. Полет в небеса. Стихи. Проза. Драммы. Письма*. Л., 1988. С. 193—194.

Имеет свое объяснение и имя второго композитора — Михаила Глинки, современника Пушкина. Хармс открыто заявляет о своей любви к традиционной классической музыке. В эти годы одним из псевдонимов писателя выбран «Гармониус». Наступил час расставания с авангардистскими сочинениями и признания музыки гармоничного — глинканского — склада.

Не нуждается в комментарии любовь Хармса к Гоголю. «Наша эпоха,— вспоминал Г. Гор,— была влюблена в Гоголя, в его живое, дышащее, играющее слово».⁶ Любовь к Гоголю была непреходящей, постоянной. Но и здесь можно заметить эволюцию. От «эксперимента художественного издательства», как определял «Нос» академик В. В. Виноградов, внимание писателя переходило к трагическому гротеску «Шинели».

Теперь о Кнуте Гамсуне. Повесть Хармса «Старуха» (1939) открывается эпитафией: «...И между ними происходит следующий разговор. Гамсун». Эта строчка затем повторяется уже в тексте повести, как принадлежащая рассказчику. После нее начинается диалог героя с молодой женщиной. В ходе диалога звучит впервые в повести религиозная тема. Пробуждается и обоюдная симпатия у ведущих диалог мужчины и женщины. Таким образом, малопримечательная фраза, вынесенная в эпитафию, имеет внутри текста стартовое значение. Строчку эпитафии можно отнести и к чрезвычайно важному для понимания повести диалогу ее героя с Сакердоном Михайловичем. Название произведения Гамсуна, откуда была выбрана строка для эпитафии, легко восстанавливается по дневниковым записям Хармса.⁷ Это роман норвежского писателя под названием «Мистерии», изданный в переводе М. П. Благовещенской в Ленинграде в 1935 г. По воспоминаниям современников, Хармс находил в себе нечто общее с героем романа — таинственным и одиноким Нагелем. Можно найти в «Старухе» Хармса некоторое сходство и с ранней повестью Гамсуна «Голод».

В связи с упоминанием Петрова о любимых авторах Хармса приведем табличку, составленную самим Хармсом (ГПБ):

⁶ Гор Г. Замедление времени // Гор Г. Геометрический лес. Л., 1975, С. 391.

⁷ Хранятся в Рукописном отделе Ленинградской государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрин, где автографы Хармса входят в состав фонда Я. С. Друскина (ф. 1232), а также (некоторое число автографов) в частных собраниях.

Вот мои любимые писатели:

	Человечеству	Моему сердцу
1. Гоголь	69	69
2. Прутков	42	69
3. Мейринк	42	69
4. Гамсун	55	62
5. Эдвард Лир	42	59
6. Льюис Кэррол	45	59

Сейчас моему сердцу особенно мил Г. Мейринк. 14 ноября 1937.

Почему выбрано именно такое сочетание чисел, не ясно. Но о литературных симпатиях Хармса, несмотря на загадочность выбранных цифр, табличка говорит с предельной наглядностью.

В своих воспоминаниях о писателе Петров тяготеет к кругу вопросов, которые уже намечались на раннем этапе изучения творчества «взрослого» Хармса. Это острое чувство формы, жизнетворчество, мысли о чуде, собирательство вокруг себя «естественных мыслителей» (их Порет называла «монстрами»). Касается Петров и религиозности Хармса, но делает это крайне осторожно, только нащупывая путь к сложной и неприемлемой, с официальной тогдашней точки зрения, теме.

Автор воспоминаний ничего не говорит о Хармсе как о детском писателе, — крайне интересный, нетрадиционный момент мемуаров. Возможно, их автору «детские» произведения Хармса представлялись чем-то незначительным, а возможно, он их и не знал. Можно предположить также, что Хармс, которого в конце 30-х годов стала тяготить работа в детских журналах, не заводил с Петровым бесед о своей текущей литературной работе.

С большим чувством мемуарист пишет о благородстве и доброте Хармса. Об его умении дружить. «Жизнь должна быть бескорыстной, как подарок», — таков был девиз Хармса. И мемуарист сумел передать обаяние личности Хармса; для которого были чужды и сентиментальность, и расхристанное панибратство.

Петров так и не закончил свои воспоминания о Хармсе. Можно лишь гадать, что удержало мемуариста от завершения труда. Может быть, он хотел расширить свои знания о творчестве Хармса и ждал случая, когда представится такая возможность. А может, не надеялся в ближайшее время опубликовать свои воспоминания.

В фонде Петрова имеются три редакции воспоминаний о Хармсе.⁸ Третья (последняя) значительно расширена по сравнению с первой, которая полностью вошла в ее текст. Во второй редакции находится эпизод, рассказывающий о беседе Хармса с Петровым в одной из ленинградских пивных. В третьей редакции этот эпизод отсутствует. Ниже мы публикуем текст третьей редакции, а также исключенный эпизод, поместив его в квадратные скобки.

Воспоминания о Хармсе

Ранней весной 1933 года я ехал на площадке ночного трамвая, возвращаясь от друзей и провожая знакомую даму. В пору моей юности одинокие трамваи бродили по городу до утра. На углу Басейной и Литейного, где закругляются рельсы, трамвай замедлил ход, и на площадку вскочил высокий молодой человек необычного вида. Он был в котелке, каких тогда решительно никто не носил, и показался мне элегантным на иностранный лад, несмотря на довольно поношенное и потрепанное пальто.

Моя спутница приветливо улыбнулась ему. Он снял котелок и с несколько аффектированной учтивостью поцеловал ее руку. Время было хамоватое, и мало кто целовал тогда руки дамам, особенно в трамвае. Мы с молодым человеком обменялись сдержанными полупоклонами, и он прошел в вагон.

— Кто это? — спросил я свою спутницу.

— Поэт Даниил Хармс.

Я надолго почти забыл эту встречу. Слегка запомнился только непривычный котелок, запомнилась иностранная фамилия, вполне подходившая к европеизированной, не то английской, не то скандинавской внешности молодого человека, и понравилась элегантная, несколько старомодная учтивость его манер.

Конечно, я не мог тогда предполагать, что мне предстоит тесно сблизиться и подружиться с этим человеком. Я был мальчишкой. До дружбы с Хармсом мне еще следовало дорасти.

Прошло пять лет. Многим еще памятно, какие это были годы. Я помню, как шел однажды поздно вечером по Каменноостровскому от Карповки до Невы и насчитал по дороге восемь «черных воронов», которые стояли у подворотен в ожидании добычи. Прохожие боязливо отводили от них глаза, стараясь делать вид, будто ничего не замечают.

⁸ Одна из редакций опубликована по списку воспоминаний В. Н. Петрова В. И. Глоцером. См.: Панорама искусств. М., 1990. № 13. С. 235—248.

Все боялись тогда новых знакомств и старались избавиться от прежних, даже самых старинных. Заметно выходил из употребления такой предмет, как записная книжка с адресами и телефонами, знали, что при обыске ею заинтересуются больше всего. К собственной двери люди приближались с сжавшимся сердцем, гадая, когда произойдет ожидаемая неожиданность. У каждого человека появилось два лица. Одно, почти одинаковое у всех, существовало для службы и общественной жизни. Второе, подлинное, приоткрывалось лишь изредка и только перед близкими. И необыкновенно развились тогда в людях два качества: молчаливость и уклончивость.

Ушел тридцать пятый год, ознаменовавшийся высылками в Уфу и Караганду. Миновал и тридцать седьмой, самый грозный. Наступил тридцать восьмой, не принеся, казалось, никаких перемен. Мало кто в те годы избежал ареста, хотя бы недолговременного. К арестам привыкли, насколько это возможно.

Хармса арестовывали дважды;¹ в 1932 году он был выслан в Курск, где провел около года,² но в конце концов благополучно вернулся. Он потом рассказывал мне, как пришел домой после освобождения и все не мог войти в дверь: от волнения почему-то наткнулся на угол — «на вереву»,³ как он говорил, и попадал мимо двери.

В атмосфере той эпохи мальчики быстро становились взрослыми. Жизнь преподносила им внушительные уроки. Такие категории, как юношеская непосредственность, наивность или доверчивость, бесследно выветривалась из психологии моего поколения. В двадцать пять лет у нас был опыт поживших сорокалетних людей.

Но все-таки жизнь продолжалась, даже в те годы. Мы знакомились друг с другом, встречались и сближались, несмотря ни на что.

В те годы я отовсюду слышал о Хармсе.

Его близко знали левые художники, с которыми я дружил: филоновки Т. Н. Глебова⁴ и А. И. Порет⁵ и тогда еще совсем молодые ученики Малевича⁶ — Н. М. Суетин и А. А. Лепорская.

От них я услышал, что Хармс вовсе не иностранец, не скандинав, и не англичанин, и не прибалтийский немец, а беспримесно русский — Даниил Иванович Ювачев. О том, что означает его псевдоним, теперь возникли различные домыслы,⁷ может быть, в самом деле, от английского слова «harm» — «скорби», «печали». Ничего определенного я не знаю и не хочу гадать. Сам Даниил Иванович никогда об этом не говорил.

О нем ходили какие-то странные рассказы.

Однажды в Госиздате, на шестом этаже, он со спокойным лицом, никому не сказав ни слова, вышел в окно по узкому карнизу и вернулся в другое окно.

Говорили, что он вообще с чудачеством: например, изводило управдома <то>, что каждый день по-новому пишет свою фамилию на входных дверях квартиры — то Хармс, то Чармс, то Гаармс, то еще как-нибудь иначе.

Всех поражало, что он носит трость и котелок (иные думали — цилиндр; в те годы разница между этими формами шляп уже не всем была известна). Весь облик Даниила Ивановича, его манера и даже одежда воспринимались как вызов нивелирующему стилю времени.

Слухи шли отовсюду. Мне запомнилось упоминание о Хармсе в последнем дневнике М. А. Кузмина. Но случай долго не сводил меня с Хармсом. Наконец, осенью 1938 года моя старинная знакомая, актриса и художница О. Н. Гильдебранд сказала мне, что Хармс что-то слышал обо мне от общих друзей и хотел бы со мной познакомиться; она предложила пойти к нему вместе с ней.

В одну из суббот мы отправились на Надеждинскую,⁸ которая уже тогда называлась улицей Маяковского. Как я узнал, у Хармса всегда собирались по субботам. Дверь открыл высокий блондин в сером спортивном костюме: короткие брюки и толстые шерстяные чулки до колен. Мне сразу припомнилась наша давнишняя трамвайная встреча. Хармс опять показался мне элегантным на иностранный манер. В дальнейшем, впрочем, выяснилось, что у него и не было другого костюма; этот единственный служил ему на все случаи жизни.

С учтивой предупредительностью Хармс помогал нам снимать пальто. При этом он, как мне показалось, не то икал, не то хрюкал, как-то по особенному втягивая воздух носом: них, них. Я несколько насторожился. Но все обошлось, а потом я узнал, что похрюкивание составляет постоянную манеру Хармса, один из его нервных тиков, отчасти произвольных, а отчасти культивируемых нарочно. По ряду соображений Даниил Иванович считал полезным развивать в себе некоторые странности.

Однако я тут же оговорюсь, чтобы не оставлять впечатления, будто в манерах Даниила Ивановича было нечто деланное или нарочито позерское. Напротив, его характеризовала высокая степень джентельменства и не только внешней, но и внутренней благовоспитанности. Чудачества и даже тики как-то удивительно гармонично входили в его облик, и я не сомневаюсь, что были необходимы для его творчества. Он держался всегда абсолютно естественно, несмотря на нервные подергивания; он просто не мог быть

иним. Больше чем кто-либо из людей, которых мне довелось близко знать, Хармс был одарен тем, что можно было бы назвать чувством формы. Он знал точную меру во всем и умел мгновенно отличить хорошее от дурного. Он обладал безошибочным вкусом, одинаково проявлявшимся и в мелочах, и в крупном, от одежды и манеры держаться до сложнейших вопросов мировоззрения или суждений о жизни и об искусстве.

Впрочем, на общем фоне эпохи джентельменство Даниила Ивановича могло --- и должно было --- выгядеть только чудачеством.

Чтобы не заставлять читателя слишком долго медить у входа в коммунальную квартиру тридцатых годов, прибавлю лишь, что жили в ней, кроме Даниила Ивановича и его жены, еще его сестра со своей семьей и старый отец, Иван Павлович Ювачев, человек, по-видимому, даровитый и своеобразный, с не совсем обычной судьбой: морской офицер, ставший народовольцем, впоследствии раскаявшийся, состоявший когда-то в переписке с Львом Толстым и под конец ставший истово православным.

Были в этой квартире, конечно, и посторонние жильцы, не имевшие никакого отношения к семье Ювачевых. За стеной комнаты, занимаемой Даниилом Ивановичем, вечно стояла, громко причитала какая-то старуха.

Вряд ли следует думать, что религиозность Хармса представляла собой дань семейной традиции. Мне трудно судить, существовала ли духовная близость между Даниилом Ивановичем и его отцом. Народовольческое прошлое Ивана Павловича несколько шокировало его сына. Но какое-то сходство в стиле мышления у них, должно быть, все-таки было. Через много лет один из наших общих друзей рассказал мне, как однажды, в его присутствии, Иван Павлович попросил у сына какую-нибудь книжку. Тот предложил ему «Аврору, или Зарю в утреннем восхождении» Якова Бёме.⁹ Вскоре старик вернул книгу, сказав, что не понял в ней ни бе, ни ме. Так состричь мог бы и сам Хармс. Впрочем, у Даниила Ивановича была, как мне кажется, совершенно особенная и отдельная жизнь, и он держался несколько в стороне от своих родственников. В мой первый приход я с ними не познакомился, да и в дальнейшем видел их лишь изредка.

Хармс церемонно представил меня своей жене и познакомил с гостями. В узкой и длинной комнате с завешенными окнами уже сидело за столом человек пять или шесть, а потом появились еще две молодые дамы; какой-то худенький сморщенный старичок играл на цитре и пел песенку собственного сочинения.

Я был уже очень слышал о комнате Хармса. Рассказывали, что вся она с полу до потолка изрисована и исписана стихами и афоризмами, из которых всегда цитировали один: «Мы не пироги».¹⁰

Но, должно быть, эти сведения относились к какому-то более раннему периоду: я ничего подобного не застал. Только был приколлот к стене листочек клетчатой бумаги, вырванный из тетрадки, со «Списком людей, особенно уважаемых в этом доме» (из них я помню Баха, Гоголя, Глинку и Кнута Гамсуна), и висели на гвоздике серебряные карманные часы с приклеенной под ними надписью: «Эти часы имеют особое сверхлогическое значение». Между окон стояла фисгармония, а на стенах я заметил отличный портрет Хармса, написанный Мансуровым,¹¹ старинную литографию, изображающую усатого полковника времен Николая I, и беспредметную картину в духе Малевича, черную с красным, про которую Хармс говорил, что она выражает суть жизни. Эта картина была написана тоже Мансуровым.

Впрочем, было еще одно произведение изобразительного искусства, о котором следует рассказать: настольную лампу украшал круглый абажур из белой бумаги, разрисованный и раскрашенный Хармсом.

Там изображалось нечто вроде процессии, или, вернее, группового портрета. Один за другим шли те самые люди, которых я в дальнейшем постоянно встречал у Хармса: Александр Иванович Введенский,¹² Яков Семенович Друскин,¹³ Леонид Савельевич Липавский,¹⁴ Антон Исаакович Шварц¹⁵ и другие знакомые Даниила Ивановича с их женами или дамами. Все были нарисованы очень похоже и слегка — но только чуть-чуть — карикатурно. В изобразительном отношении рисунок отдаленно напоминал графику Вильгельма Буша.¹⁶

В центре процессии был автопортрет Хармса, нарисованный несколько крупнее других фигур. Даниил Иванович изобразил себя высоким и согбленным, весьма пожилым, очень мрачным и разочарованным. Рядом была нарисована маленькая фигурка его жены. Они уныло брели, окруженные друзьями. Хармс говорил мне потом, что он делается таким, когда перестанет ждать чуда.

Здесь я касаюсь одного из довольно существенных убеждений Хармса. Он считал, что ожидание чуда составляет содержание и смысл человеческой жизни.¹⁷

Каждый по-своему представляет себе чудо. Для одного оно в том, чтобы написать гениальную книгу, для другого — в том, чтобы узнать или увидеть нечто такое, что навсегда озарит его жизнь, для

третьего — в том, чтобы прославиться, или разбогатеть, или еще что-нибудь в любом роде, в зависимости от души человека.

Однако людям только кажется, что их желания разнообразны.

В действительности люди, сами того не зная, желают лишь одного — обрести бессмертие. Это и есть настоящее чудо, которого ждут и надеются на его пришествие.

Чуда не было год назад и не было вчера. Оно не произошло и сегодня. Но, может быть, оно произойдет завтра, или через год, или через двадцать лет. Пока человек так думает, он живет.

Но чудо приходит не ко всем. Или, может быть, ни к кому не приходит. Наступает момент, когда человек убеждается, что чуда не будет. Тогда, собственно говоря, жизнь прекращается, и остается лишь физическое существование, лишенное духовного содержания и смысла. Конечно, у разных людей этот момент наступает в неодинаковые сроки: у одних в тридцать лет, у других в пятьдесят, у иных еще позже. Каждый стареет по-своему, в своем собственном темпе. Счастливее всех те, кто до самого конца продолжает ждать чуда.

Не слишком высоко ценя Льва Толстого как писателя,¹⁸ Хармс чрезвычайно восхищался им как человеком, потому что Толстой ждал чуда до глубокой старости и в 82 года «выпрыгнул в окно», чтобы начать новую жизнь, стать странником и, может быть, убежать от смерти.

В ту пору, когда я познакомился с Даниилом Ивановичем, ему было тридцать три года. Мне, двадцатипятилетнему, он казался не старым, конечно, и даже не пожилым, но уже свободным от недостатков и слабостей, свойственных юности. Он был вполне зрелым человеком со сложившимся мировоззрением и до конца продуманным отношением к жизни.

Я должен теперь рассказать о характере моих отношений с Хармсом — отношений, которые сложились сразу и с первой встречи приняли законченную форму, не изменявшуюся в течение трех последующих лет его жизни.

Существует любовь с первого взгляда. О ней немало написано. Люди, едва встретившись и еще ничего не зная друг о друге, испытывают неодолимое взаимное притяжение. Шекспир в «Ромео и Джульетте» и Хемингуэй в замечательном романе «По ком звонит колокол» рассказывают об этом почти одинаково, при всей несравнимости описываемых обстоятельств, быта и психологии персонажей. Но что же такое любовь? Не вдаваясь в теорию и не претендуя на исчерпывающие определения, приведу лишь слова В. В. Роза-

нова,¹⁹ которые, по моему убеждению, отмечают едва ли не самое важное: «Хорошо только там, где ты, а без тебя повсюду уныло и скучно». Главное в любви — это стремление быть вместе.

Но есть и дружба с первого взгляда, во всем подобная любви, за вычетом лишь физического влечения. Дружба, как и любовь, проходит последовательные фазы: сначала обостренный взаимный интерес, потом нарастающее духовное сближение и, наконец, охлаждение, нередко переходящее во взаимное недовольство, антипатию и даже ненависть. Всему свои сроки.

Как всякое творческое явление, дружба требует таланта. Хармс был одарен талантом к дружбе не меньше, чем иенские романтики или наши первые символисты. В дружбу он вкладывал творческую энергию. Имена друзей, как вехи, отмечают течение его биографии. Где-то в начале двадцатых годов тесная дружба связала его с Венденским. Она продолжалась долгие годы и прошла, как мне кажется, все последовательные фазы, завершившись холодными — нет, скорее тепловатыми, приятельскими отношениями. Потом у Даниила Ивановича была недолгая дружба с Заболоцким, потом с Олейниковым, после с Друскиным. Мне выпала судьба стать последним другом Хармса. Нашей дружбе был отмерен короткий срок. Она оборвалась насильственно, едва дойдя до высшей точки.

Может быть, стоит упомянуть, что в силу свойственной нам обоим церемонности мы никогда не переходили на «ты» и обращались друг к другу по имени и отчеству.

Я помню, что уже с первого прихода к Хармсу почувствовал своеобразие духовной атмосферы его дома, ее несхожесть ни с чем ранее виденным и испытанным, хотя и не смог бы тогда определить, в чем же именно она заключается.

В доме господствовали свобода и непринужденность. Хозяева дома и их гости были тогда молоды и беззаботны, несмотря на то что жизнь у большинства из них была совсем нелегкой. Гости приходили когда угодно, вели себя как хотели, делали все, что им нравилось, и говорили о том, что их интересовало.

Одна только тема была под запретом в доме Хармса, как, впрочем, и во всех других домах того времени: никто и никогда не говорил о политике и властях. Условливаться не приходилось, все сами все понимали.

Почти всякий вечер помногу музицировали. Я. С. Друскин играл на фисгармонии Баха и Моцарта. Часто приходила редакторша Детгиза Э. С. Паперная, знавшая несколько тысяч песен на всех языках мира. Даниил Иванович очень приятным низким голо-

сом охотно пел, иногда вместе с Паперной, иногда и без нее. Он любил песенки Бельмана, полузабытого шведского композитора XVIII века. Хармс и сам пробовал сочинять музыку. Я не берусь о ней судить. По общему признанию, он был необыкновенно музыкален.

Даниил Иванович и его прелестная жена Марина Владимировна Малиц были приветливыми и внимательными хозяевами. Но их внимание никогда не превращалось в давление на присутствующих.

И все же, при всей свободе и непринужденности, царившей в доме, мы, сами того не замечая, испытывали — не могли не испытывать — сильнейшее воздействие индивидуальности Даниила Ивановича; нас вела его неощутимо направляющая рука. Мне думается теперь, что все мы были в каком-то смысле «персонажами Хармса»; он иронически наблюдал и как бы «сочинял» нас, и мы выстраивались по его воле в некую процессию, вроде той, которую он изобразил на своем абакуре. Можно предположить, что в его сознании мы все отражались очень похоже и, может быть, слегка карикатурно.

Тут мне особенно важно быть правильно понятым. Было бы, конечно, сущей клеветой на Даниила Ивановича думать, будто он собирал своих знакомых и друзей для того лишь, чтобы над ними посмеяться. Он их искренне любил. Он был готов преклоняться перед дарованием Введенского, которого считал гением; он высоко ценил острый ум Липавского, силу мысли и философскую интуицию Друскина. Для иронии Хармса характерна и существенна доброта. Он презирал сатиру как низший род литературы. Но Хармс строил свою жизнь как строит произведение искусства и вовлекал нас в это произведение.

Здесь уместно сказать несколько слов о людях, которых Даниил Иванович называл «естественными мыслителями».

Это была совершенно особая категория его знакомых, по большей части найденная случайно и где придется — в пивной, на улице или в трамвае. Даниил Иванович с поразительной интуицией умел находить и выбирать нужных ему людей.

Их всех отличали высоко ценимые Хармсом черты — независимость мнений, способность к непредвзятым суждениям, свобода от косных традиций, некоторый алогизм в стиле мышления и иногда творческая сила, неожиданно пробужденная психической болезнью. Все это были люди с сумасшедшинкой; люди той же категории, из которой выходят самодеятельные художники-примитивисты (Naive Kunst), нередко превосходные, или просто народные философы-мистики, нередко весьма примечательные. В ежедневном общении они обычно бывают трудны и далеко не всегда приятны.

Даниил Иванович приводил их к себе и обходился с ними удивительно серьезно и деликатно.

Я думаю, что его привлекал в первую очередь их алогизм или, вернее, особенная, чуть сдвинутая логика, в которой он чувствовал какое-то родство с тайной логикой искусства. Он рассказывал мне, что в двадцатых годах, в пору бури и натиска движения обэриутов, всерьез проектировал «Вечер естественных мыслителей» в Доме Печати. Они бы там излагали свои теории.

Впрочем, в те годы, когда я близко знал Даниила Ивановича, его интерес к «естественным мыслителям» стал невелик. Должно быть, он уже взял от них то, что они могли ему дать. Новых «мыслителей» он уже не искал. Но кое-кто из прежних еще появлялся в его доме.

Я помню доктора Шапо, который, пожалуй, был скорее просто милым чудаком, чем «мыслителем».

Помню добродушного и болтливого Александра Алексеевича Башилова. Он неизменно раза два в год попадал в психиатрическую больницу и выходил оттуда со свидетельством, где, как он уверял, было написано, что «Александр Алексеевич Башилов не сумасшедший, а вокруг него все сумасшедшие».

Башилов был племянником управдома и думал почему-то, что дядя покушается на его жизнь. Однажды управдом вместе с дворниками скидывал с крыши снег и попадал прямо на стоявшего внизу Александра Алексеевича. Тот, чуть ли не по пояс в снегу, возмущался, кричал и требовал, чтобы это прекратилось, но отойти в сторону не додумался.

Помню молчаливого и мрачного Рундальцева; этот был совсем в другом роде. Он обладал способностью просидеть целый вечер, не проронив ни слова, и только обводил всех тяжелым взглядом.

Люди ищут и видят в других только то, что в какой-либо мере свойственно им самим. Даниил Иванович тянулся к «естественным мыслителям», потому что в своей собственной психике знал и чувствовал сдвиги, решительно отличающие поэта от мира так называемых нормальных, то есть попросту нетворческих людей. Обладая принципиальным и ясным умом, Даниил Иванович, я думаю, ценил в себе эти сдвиги; ему наверно казалось, что именно эти сдвиги помогают реализовать его творческий дар и обостряют его поразительную интуицию, похожую на ясновидение.

Только в отличие от бедных «мыслителей», которыми владело безумие, Даниил Иванович сам владел и своим безумием, умел управлять им и поставил его на службу своему искусству.

«Интеллигентные» разговоры о книгах или театре не пользовались уважением в доме Хармса.

Шла осень унылого тридцать девятого года. Теперь, в исторической перспективе, стало более очевидным, что год был таким же зловещим, как и два предшествующих года — страшный тридцать седьмой и безнадежный тридцать восьмой. Стало также вполне очевидным теперь, что в эти годы готовились и назревали огромные события, вскоре охватившие весь мир. Но мы, жившие тогда, не умели понять и увидеть это. Мы видели только, что время наше мрачное и беспросветное; но мы не различали за ним никаких очертаний будущего. Даниил Иванович был одним из тех немногих, кто уже тогда предвидел и предчувствовал войну.

Горькие предвидения Хармса облекались в неожиданную и даже несколько странную форму, столь характерную для его мышления.

— По-моему, осталось только два выхода, — говорил он мне. — Либо будет война, либо мы все умрем от парши.

— Почему от парши? — спросил я с недоумением.

— Ну, от нашей унылой и беспросветной жизни зачухнем, покроемся коростой или паршой и умрем от этого, — ответил Даниил Иванович.

Ирония и шутка были для него средством хотя бы слегка заслониться от надвигающейся гибели. Он думал о войне с ужасом и отчаянием, и знал наперед, что она принесет ему смерть; он и вправду не пережил войну, хотя гибель пришла к нему, быть может, не тем путем, какого он тогда страшился.

Военная служба казалась ему хуже и страшнее тюрьмы. — В тюрьме можно остаться самим собой, а в казарме нельзя, невозможно! — говорил он мне.

У меня уже был тогда небольшой опыт казарменной жизни, приобретенный во время лагерного сбора после перехода с первого на второй курс университета. Я мог поэтому понять, насколько непереносимой была бы для Даниила Ивановича солдатская жизнь...

[Общие места и безответственные суждения вызывали у Даниила Ивановича самую настоящую злость. Человек, желавший, чтобы его слушали, должен был говорить нечто вполне самостоятельное и неожиданное. Поэтому о литературе говорили нечасто. Но иногда в узком кругу, с одним, двумя собеседниками, Даниил Иванович сам начинал эти разговоры, и я приведу здесь некоторые из его литературных мнений.

Местом наших бесед нередко бывала пивная на Знаменской улице, против Озерного переулка. Это довольно низкопробное и

грязное заведение, ныне уже не существующее, напоминало «клоак», в котором Версиров²⁰ разговаривал с подростком. Обычными посетителями там были маляры. Ведро с плешущейся или полузасохшей краской стояли вдоль стен и под столами. Д. И. приходил с небольшим саквояжем, где лежали вилки и дорожные складные стаканчики. Мы заказывали водку, сосиски и пиво с горохом. Музыка в этом кабаке не играла и разговоры — по крайней мере наши — отнюдь не носили характера лирической и полупьяной российской задушевности. Однажды именно там Хармс объяснил мне значение верно найденной литературной детали.

Важнейшим свойством писателя он считал властность. Писатель, по его убеждению, должен поставить читателей перед такой непререкаемой очевидностью, чтобы те не смели и пикнуть против нее. Он взял пример из недавно прочитанного нами обоими романа Авдотьи Панаевой «Семейство Тальниковых». Там, по ходу действия, автору требовалось изобразить, как один человек сошел с ума. Сделано это так: человек остается в пустой прихожей, снимает с вешалки все шубы, пальто и салоны, несет и аккуратно складывает их в угол, а на вешалке оставляет одну только свою шинель. Она висит одиноко и отчужденно. Сумасшествие показано таким образом при помощи неброской, но вместе с тем неожиданной детали, которая обретает ряд параллельных, а часто перебивающих друг друга смыслов. Она — как микрокосм, в котором отражена закономерность мира, создаваемого в романе].

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Начальник Управления КГБ СССР по Ленинградской области В. М. Прилуков в беседе с корреспондентом «Ленинградской правды» (см. запись этой беседы: Ленинградская правда. 1988. 4 октября; под названием «Гласность и госбезопасность») сообщил следующее: «Даниил Хармс был арестован в 1931 году вместе с другими известными в то время литераторами по делу ленинградского издательства „Детская литература“ (такого издательства в 1931 г. не существовало. — А. А.). Обвинения были вымышленными, явно инспирированными. Но Хармс был приговорен к 3 годам лишения свободы, а затем этот срок ему заменили высылкой. Во второй раз Хармса арестовали в августе 1941 года, перед самым началом блокады, когда в городе шла борьба с вражеской агентурой, паникерами, спекулянтами. Органы НКВД располагали сведениями об антисоветских и „пораженческих“ разговорах, которые он вел. По воспоминаниям современников, и в частности сестры Хармса — Е. И. Ювачевой-Грицунной, органы НКВД «задерживали» его на два-три дня в 1934 и 1937 гг. Писатель находился под неусыпным вниманием властей, был «под колпаком», как принято теперь говорить.

² Хармс выехал в Курск 13 июля 1932 г., возвратился 18 ноября этого же года.

³ Веряя — косяк у двери (обл., вологодск.).

⁴ Глебова Татьяна Николаевна (1900—1985) — художница, входила в студию МАИ («Мастера аналитического искусства»), организованную П. Н. Филоновым. В 30-е годы художница написала портрет Хармса, исчезнувший во время блокады.

⁵ Порет Алиса Ивановна (1902—1984) — также участник коллектива МАИ. Хармс адресовал ей несколько стихотворений. Оставила о Хармсе воспоминания. Написала портреты Хармса в 60—70-е годы, оформляла детские произведения Хармса; см.: *Хармс Д. Загадочные картинки*. М., 1980.

⁶ Хармс и его друзья в конце 20-х годов хотели создать объединение поэтов и художников, о чем Хармс вел переговоры с К. С. Малевичем. Супрематические идеи замечательного художника привлекали Хармса, и он одно время искал для них словесно-поэтический эквивалент. В дружеских отношениях Хармс находился со многими учениками Малевича, в особенности с В. В. Стерлиговым.

⁷ Стоит ли объяснять, как важно для понимания творчества и личности писателя расшифровка его псевдонима. В беседе с В. Н. Петровым нами было высказано предположение, что Хармс от «harm» (англ.) — «вред самому себе». Порет считала, что иноязычный псевдоним взят от предка по материнской линии. Эта легенда, возможно, создана самим Хармсом. Его мать, урожденная Колюбакина, родилась на Волге в русской семье. Многие из современников видели в псевдониме Хармса своего рода визитную карточку «заумника»: псевдоним воспринимался ими как бессмысленно-эксцентрическое сочетание звуков. Игорь Бахтерев усматривает в англоязычном псевдониме связь с именем Шерлока Холмса (см., например: *Бахтерев И. Когда мы были молодыми*. (Невыдуманный рассказ) // Воспоминания о Н. Заболоцком. 2-е изд., дополн. М., 1977. С. 63). В настоящий момент автор этих заметок склоняется к тому, что псевдоним Хармс (и производный «Шардам») образован от английского «charm» или немецкого «scharm» (писатель владел этими языками): Оба слова означают «обаяние», «чары». Глагол от них — «очаровывать, околдовывать». Образ коадуна, властелина нередок в произведениях Хармса 20-х годов. Скрытый смысл псевдонима — «вред самому себе» — проступил в середине 30-х годов, на что указал сыну его отец. У Хармса есть запись о том, что отец посоветовал ему отказаться от псевдонима, иначе будет «преследовать нужды».

⁸ На Надеждинской в доме 11, кв. 8 Хармс жил с 1925 по 1941 г. В 1950 г. в этой квартире, перепланированной, поселился и В. Н. Петров.

⁹ Якоб Бёме (1575—1624) — немецкий теософ. В книге «Аврора, или Утренняя заря» (1612) он писал об открывшейся ему благодаря «внутреннему просветлению» сокровенной сущности мироздания.

¹⁰ «Мы не пироги» — девиз, который в виде плаката вывесили Ю. Владимиров и Б. Левин, младшие обэриуты, на своем литературном вечере в студенческом общежитии Ленинградского университета. Об этом выступлении как о «вылазке литературных хулиганов» с демагогическим возмущением писала газета «Смена» (1930. № 81. 9 апреля). Точных свидетельств нет, висел ли этот лозунг в квартире Хармса.

¹¹ Павел Андреевич Мансуров (1896—1983), с большой симпатией относившийся к Хармсу (об этом он писал в своих письмах к Е. Ф. Ковтуну), выехал за границу из Ленинграда в 1928 г.

¹² А. И. Введенский (1904—1941) — поэт и драматург, ближайший друг Хармса, оказавший довольно сильное влияние на его раннее творчество.

¹³ Я. С. Друскин (1902—1980) — философ, музыковед, математик, переводчик на русский язык книги А. Швейцера «И. С. Бах». С Друскиным Хармс познакомился в середине 20-х годов, но особенно сблизился во второй половине 30-х. О Друскине Хармс пишет в шаржированном рассказе «Я решил растрепать одну компанию...». В 1937 г. между ними завязалась литературная переписка.

¹⁴ Л. С. Липавский (псевд. — Л. Савельев, 1904—1941) — литературный редактор, высоко ценимый Маршаком, автор историко-революционных и естественно-научных книг для детей.

¹⁵ А. И. Шварц (1896—1954) — художественный чтец, жил неподалеку от Хармса. В предвоенные годы Шварц и Хармс дружили семьями.

¹⁶ Вильгельм Буш (1832—1908) — немецкий поэт и художник, автор популярной в дореволюционной России книги об озорниках Максе и Мерице. По воспоминаниям сестры Хармса, он, как и миллионы его сверстников, зачитывался этой книгой в детстве. В 30-е годы вышел вольный перевод стихотворной повести Буша «Плих и Плаух», сделанный Хармсом.

¹⁷ Хармс много размышлял о чудесном, наполняя понятие «чудо» религиозным содержанием. Вторая половина 30-х годов в творчестве Хармса отмечена трагическим колебанием между верой и утратой ее. Среди записей его есть и такая: «Есть ли чудо? Вот вопрос, на который я хотел бы услышать ответ» (ГПБ, 1937 г.). «У него, — вспоминал Друскин в своей записи, — было ощущение жизни как чуда, и свою жизнь он хотел сделать как чудо. Не случайно у него много и рассказов о чуде» (частное собрание).

¹⁸ Вопрос об отношении Хармса к классическому наследию не прост. Не углубляясь в него сейчас, скажем только, что как раз в годы дружеских отношений с Петровым Хармс отошел от своей ранней установки на антипсихологизм. Отец же Хармса и тетка писателя — Н. И. Колюбакина, преподавательница русской литературы, относились к Толстому благоговейно.

¹⁹ В. В. Розанов (1856—1919) — русский писатель, публицист, философ, имя которого все чаще стали вспоминать в годы, когда Петров писал свои воспоминания.

²⁰ Версиллов — персонаж романа Ф. М. Достоевского «Подросток».

Стихотворения Даниила Хармса

В фонде В. Н. Петрова находятся автографы трех стихотворений Даниила Хармса: «Конец героя», «Пророк с Аничкиного моста», «Что за люди там и тут...». Первое и третье из них не опубликованы.

Беловой текст стихотворения «Конец героя» записан на двойных листах вместе с текстом «Пророка...». Оба произведения относятся к одному времени — 1926 г. Возможно, автор видел внутреннюю связь между ними.

Как оказались эти ранние произведения Хармса у Петрова, который познакомился с писателем в конце 30-х годов, можно только гадать.

Стихотворение «Конец героя» относится условно говоря к «чинарскому» периоду Хармса. В 1925 г. он называл себя Председателем Взирь Зауми, подчеркивая этим псевдонимом-титолом свою связь с поэтом Александром Туфановым, Председателем Земного Шара Зауми (как тот величал себя). Образцы Взирь Зауми 1925 г. содержатся в двух школьных тетрадях, которые Хармс предложил вниманию приемочной комиссии Союза поэ-

тов.¹ В начале 1926 г. Хармс и А. Введенский уже называют себя «чинарями». Они создают «Школу чинарей». Вначале поэты сохраняли свои старые самоназвания: чинарь-взиральник (Хармс), чинарь — авто-ритет бессмыслицы (Введенский), но потом оставили только первую часть.

Поэтика Хармса непрерывно изменялась. И чинарь Хармс не идентичен Председателю Взирь Зауми. Заметно отклонилась стрелка стилиевой ориентации — от Туфанова в сторону Александра Введенского. Произошла не смена подражаний, а одни выразительные средства приглушились, переформировались в другие. Хармс в 1926 г. отходит от ритмов «плясули» и «срывов» 1925 г.. Выравнивается в сторону литературной нормы поэтическая речь. «Конец героя» — это уже «столбец», похожий на ранние «столбцы» Введенского и Заболоцкого, ритмически однообразный поток стихотворной речи. Малопонятный (впрочем, эта черта — может быть, даже в большей мере — присуща и Взирь Зауми), но динамичный поток, характеризующийся яркой сменой образов.

Стихотворение «сделано» как бы по методу импульсивного (импровизированного) письма. Можно предположить, что задача автора состоит в том, чтобы передать текучесть поэтических образов. Он следит не за отчетливостью художественной мысли, а за ее быстрым движением, разветвлением. При этой скорой фиксации многообразия образов и их трансформации автор неизбежно впадает в аграмматизм и алогизм. Причем — поскольку причинно-следственные связи оборваны — алогизм становится важнейшим художественным принципом импульсивного письма.

По сравнению с Взирь Заумью в этом «чинарском» стихотворении сократилось число неологизмов, вообще нехарактерных для «столбцов». Особое внимание привлекают существительное «шулят», рифмующееся со словом «шумят» («и латы воина шумят // при пухлом шепоте шулят»), а также неологизм «кичка», уже встречавшийся у Хармса. В стихотворении «Полька „Затылки“» (1 января 1926 г.) читаем: «не осуди шерстяная публика // громкую кичку // Хармса — дитё».

В стихотворении можно наблюдать признаки, характерные для «чинарей»: «стремление к увеличению размаха ассоциативных сближений отдельных и даже противоположных вещей, явлений, процессов, увеличение свободы превращений, пересечения, взаимного растворения и взаимного

¹ Хранятся в ИРАИ. Об этих стихотворениях см.: Александров А. А. Материалы Д. И. Хармса в Рукописном отделе Пушкинского Дома // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 год. Л., 1980. С. 64—79.

наложения образов действительности в разных направлениях вплоть до своеобразного протекания из одной формы в другую, нарушение обычной последовательности, смелое расположение удивительного и даже сказочно-чудесного...», — так о ранней обэриутской поэтике пишет А. В. Македонов.²

Но в этом беспорядочном — при беглом взгляде — следовании двустийший и четверостиший можно заметить и объединяющие образы. Это триада — дева, девка, сударыня (дама), которая проходит по всему тексту. Параллельно движется рассказ о лирическом герое, о поклоннике — полковнике, «герое» (скорее всего на эротическом поприще), о «пустыннике». Быстрая смена этих персонажей в конце концов завершается драматичным финалом. В целом создается мрачно забавный поток стихотворных образов на тему насильственно оборванной молодой жизни.

Совсем иная тональность у лукаво бодрого стихотворения «Что за люди там и тут...». Оно не датировано, но подписано — «Хармс». Псевдонимы Даниила Хармса могут указывать на время написания той или иной вещи. Только в определенные годы он подписывался Д. Х., или же Гармониус, или же Даниил Дандан, или же Даниил Хармс, а то и просто Хармс, как он поступил в данном случае. Псевдонимом «Хармс» подписаны произведения, относящиеся к 1936 и к 1940 гг. Скорее всего «Что за люди там и тут...» создано именно в 1936 г., во всяком случае в середине 30-х годов, а не в их конце, когда сеть Ленскупторга не была новинкой, да и «восторг» окончательно покинул Даниила Хармса. Заметим также, что существуют ритмические переключки между этим произведением и стихотворением Хармса для детей «Что это значит?», опубликованным в последнем номере «Чижа» (№ 12) за 1935 г.

В известной мере это стихотворение можно рассматривать как автопародию. В творчестве Хармса гротескный автошарж не редок — в прозе, стихах и в графике. В данном случае деятельность Ленинградского скупторга воспевается в привычных для Хармса ритмах игровой детской поэзии.

В повседневной жизни Хармса комиссионный магазин занимал далеко не последнее место. Испытывая, и довольно часто, недостаток в деньгах, Хармс сдавал на комиссию старинные вещи, доставшиеся ему от матери. В комиссионном магазине Хармс, как об этом свидетельствуют его записи, хотел приобрести фисгармонию или же редкие курительные трубки. «На

² Македонов А. Николай Заболоцкий. Жизнь, творчество, метаморфозы. Л., 1987. С. 67.

днях,— читаем в «Старухе»,— я видел в комиссионном магазине отвратительные кухонные часы, и стрелки у них были сделаны в виде ножа и вилки».

«Что за люди там и тут...» состоит из трех частей. Первая начинается с приведенной строчки. В тексте 51 строка и лист с текстом помечен номером I(1). Во втором тексте, помеченном II(1/2), 35 строчек. Его начало отличается от текста I(1):

Чтобы было очень радо
Ленинграда население,
В каждой части Ленинграда
Ленскупторга отделение.
В отделениях принимают
На комиссию товары,
Продают...

и т. д. по первому тексту до конца. На листе третьей части поставлено III(1/4). Ниже мы публикуем часть первую и третью. Возможно, все три части предполагались для домашнего музыкального исполнения. Хармс любил подобные словесно-музыкальные шутки и сочинял кантаты и каноны, чтобы развлечь себя и гостей. В публикации полностью сохранена авторская пунктуация.

1

КОНЕЦ ГЕРОЯ

Живи хвостом сухих корений
за миром брошенных творений
бросая камни в небо в воду ль
держась пустынником поодаль.
В красе бушующих румян
хлещи отравленным ура.
— Призыва нежный алатырь
и Бога черный монастырь.
Шумит ребячая проказа
до девки 107-го раза
и латы воина шумят
при пухлом шепоте шулят.
Сады плодов и винограда
вокруг широкая ограда.
Мелькает девушка в окне
Софокла вдруг подходит к ней:
не мучь передника рукою
и цвет волос своих не мучь
твоя рука жару прогонит
и дядька вынырнет из туч.

И вмиг разбившись на матрасе
восстанет молод и прекрасен
и стоком бережным имян
как водолей пронзит меня.
Сухое дерево ломалось
она в окне своем пугалась
бросала стражу и дозор
и щеки красила в позор
Уж день вертелся в двери эти,
шуты плясали в оперетте
и ловкий крик блестящих дам
кричал: я честь свою отдам!
Под стук и лепет колотушек
дитя свечу свою потушит
потом идет в леса укропа
куриный дом и бабий ропот.
Крутя усы бежит полковник
минутной храбростью кичась --
-- Сударыня, я ваш поклонник
скажите мне, который час?
Она же взяв часы тугие
и не взирая на него
не слышит жалобы другие
повелевает выйти вон.
А я под знаменем в бою
плаю в колодец и пою:
Пусть ветер палубу колышет
по ветра стык моряк не слышит.
Пусть дева плачет о зиме
и молоко дает змее.
Я опростясь сухим приветом
стелю кровать себе при этом
бросая в небо дерзкий глас
и проходя четвертый класс.
Из леса выпрыгнет метелка
умрет в углу моя светелка
восстанет мертвый на помост
блином во рту промчится пост.
Как жнец над пряхою не дышит
как пряха пож вздымает выше --
не слышу я и не гляжу
как пес под знаменем лежу.
Но виден мне конец героя
глаза распухшие от крови
могилу с именем пона
и звон копающих лопат.
И виден мне кельник ровный,
упряжка скучная и дровни,

ковёр раскинутых саней,
лихая кичка: поскорей!
Конец не так моя Розалья
пройдя всего лишь жизни треть
его схватили и связали
а дальше я не стал смотреть.
И запотев в могучем росте
всегда ликующий такой —
никто не скажет и не спросит
и не помянет за упокой

в с ё

2 мая 1926

2

* *
*

〈Часть I(1)〉

Что за люди там и тут
Во все стороны бегут?
Что за гром и беготня,
Крик и треск и толкотня?
Может в дом ударил гром,
И на площадь рухнул дом?
Или солнца треснул шар?
Иль на месяце пожар?

Отвечает мне народ:
Нет, как раз наоборот:
Этот грохот от восторга,
Потому что там и тут
В магазины Ленскупторга
Люди толпами бегут.
Широко раскинул сети
Магазинов Ленскупторг,
Потому-то в целом свете
Ликованье и восторг.
Даже маленькие дети
Восклицают: «Ленскупторг!»

В Ленскупторге принимают
На комиссию товары
Продают и покупают
Лампы, чашки, самовары,

Стулья, кресла и картины,
Чемоданы и корзины,
Платье, обувь, шапки, шубы,
Пианино, флейты, трубы,
Бронзу, фотоаппараты
И бухарские халаты,
И хрусталь любой игры,
И роскошные ковры.
Тут же мебель обивают,
Полируют, обновляют
И, улучшив в сорок раз,
Выставляют напоказ.

Удивитесь вы таланту
Ленскупторговских работ,
Платит он по преискуранту
Тут же сразу, без хлопот.
Агентура Ленскупторга
Помогает людям жить,
По квартирам ходит бодро,
Предлагает услужить.
Потребитель Ленскупторга
Просто ходит сам не свой,
Просто скачет от восторга
И бормочет сам с собой:
 Ленскупторг!
 Ленскупторг!
Ты привел меня в восторг!

«Часть III(1/4)»

Чтобы было очень радо
Ленинграда население
В каждой части Ленинграда
Ленскупторга отделенье.
Там и мебель, и фарфоры,
Там и бронза, и ковры,
И научные приборы,
И хрусталь любой игры.
Там и обувь, там и платья,
Приводящие в восторг —
Нет, не в силах рассказать я,
Как прекрасен Ленскупторг.
Там и купишь и продашь,
И получишь и отдашь,
А насмотришься такого,
Что забудешь Эрмитаж!

Иван Павлович Ювачев (1860—1940), отец Даниила Хармса, всю вторую половину своей жизни вел дневник. Мелким, как принято говорить, бисерным почерком заполнялись страницы записных книжек обычного формата. Тип записей не менялся с годами. Не пропуская ни одного дня в календаре, Ювачев перечислял все события за день, вспоминал всех людей, с кем виделся и вел беседы. Называл книги, какие он читал, описывал сны, какие видел.

Ювачев был глубоко религиозным человеком. В дневниках отмечались все христианские праздники. Методично — изо дня в день — упоминались все церкви, где молился и слушал службу Ювачев. С такой же старательностью фиксировались полнолуния и другие космические явления.

Записи были относительно краткими. Ювачев избегал по возможности психологических описаний, картинных зарисовок. Он стремился к хроникальной записи, где основное место уделялось не личным переживаниям, а поступкам, действию, тому, что говорят другие..

Одной записной книжки хватало на год или две трети года. Ювачев нумеровал книжки. Сколько их было всего, невозможно сказать точно. Большая часть погибла в блокаду. То, что уцелело, стало собственностью дочери — Елизаветы Ивановны Ювачевой-Грицкиной. В фонде Петрова находятся две книжки И. П. Ювачева. Одна под номером III, охватывает период с 20 мая 1930 г. по 1 апреля 1931 г. Другая, как мы считаем, носит номер LIV (ее начало вырвано) и относится к первой половине 1932 г.

Дневники Ювачева содержат богатый историко-бытовой материал и представляют значительный интерес для всех, кто занимается городским бытом двадцатого века, историей общественных организаций в Ленинграде, историей современной церкви. Представляют они важный материал и для биографов Даниила Хармса.

Чтобы разобраться в этом материале, необходимо познакомиться с биографией Ивана Ювачева и его миропониманием.¹

Иван Павлович Ювачев был весьма примечательной личностью. Его характер формировали две могучие силы: с одной стороны — русское рево-

¹ См. фонд И. П. Ювачева под № 887 в ГПБ, а также Сенченко И. Л. Революционеры России на сахалинской каторге. Сахалинское книжное издательство. 1963. Много биографического материала и в книгах самого Ювачева. См. также Ювачев И. П. Из воспоминаний старого моряка. — «Морской сборник», № 10, 1927, с. 71—90.

люионное движение народников, с другой — и позднее, русская христианская церковь, ее идеи и ее проповедники начала двадцатого века. Воздействие было противоречивым, в ряде случаев — там, где сливались крайности — и мощным.

Иван Ювачев родился в бедной семье дворцового полотера в 1860 г. В 1874 г., сдав вступительные экзамены на «отлично», он поступил в техническое училище морского ведомства в Кронштадте. Здесь будущий штурман познакомился с нелегальной революционной литературой. Его героями стали деятели народничества. «В детстве он был очень религиозен, в юности стал атеистом», — записал о Ювачеве Д. П. Маковицкий.²

Сам Ювачев признавался, что в молодости хотел повесить в своей комнате вместо иконы портрет Веры Засулич. По окончании училища Ювачев служил несколько лет на Черном море. Весной 1882 г. организатор военно-революционных групп подполковник М. Ю. Ашенбреннер создал в Николаеве кружок морских офицеров, сочувствовавших революционному движению. Ювачев вошел в кружок и стал его деятельным участником. После переезда в Петербург границы его революционной деятельности расширились. В 1883 г. Ювачев был арестован. Молодому офицеру грозило жестокое наказание за участие в антиправительственной Военной организации.

Революционер-моряк проходил по знаменитому «процессу 14-ти» и был приговорен к 15 годам каторги. Около четырех лет Ювачев провел в одиночном заключении в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях. В тюремной камере в мировоззрении Ювачева произошел перелом. Атеизм улетучился, с большой силой вновь пробудилась христианская вера. Друзья-народовольцы посчитали, что Ювачев сошел с ума. Тюремная власть предложила народовольцу, обретшему Христа, уйти в монастырь. Ювачев отказался. Из Шлиссельбургской крепости его перевезли на остров-тюрьму, на сахалинскую каторгу. Впоследствии Ювачев написал две книги о своих тюремно-каторжных годах.³ В них отчетливо выразилась боль за нравственно униженного человека, превращенного в российских тюрьмах и поселениях в бесправное ничтожество, жизнь которого полностью находится в руках надзирателей разных рангов.

² Маковицкий Д. П. У Толстого. 1904—1910. «Яснополянские записки». Кн. I. 1904—1905. М., 1979, с. 474.

³ Восемь лет на Сахалине. СПб., 1901. (Издана под псевдонимом — И. П. Миролюбов); Шлиссельбургская крепость. М., 1907.

В 1895 г. Ювачев получил освобождение, и он, покинув Сахалин, поселился во Владивостоке, а в 1899 г. вновь возвратился в Петербург (через Тихий океан, Америку, Атлантику и Англию).

До революции Ювачев служил в инспекции Управления государственными сберегательными кассами. Служебные командировки в многочисленные российские губернии отнимали и силы и свободное время, но Ювачев был исключительно трудолюбивым человеком. Высоко развитым было у него и чувство служения идеям христианства. Он писал многочисленные статьи, очерки, книги на религиозные темы⁴, сотрудничал долгие годы в журнале «Отдых христианина».

После революции Ювачев работал старшим ревизором Центрального бюджетно-расчетного управления Наркомата финансов. В 1923—1924 гг. Ювачев — заведующий счетным отделением рабочего комитета на строительстве Волховской ГЭС. Во второй половине двадцатых годов он уходит на пенсию. Основным занятием его стало составление иконографии Божией Матери. Ювачев, как видно из дневников, в 1930—1932 гг. составлял описание и зарисовывал иконы Всеблагой, находившиеся в ленинградских церквях. Регулярно посещал он и собрания в Обществе политкаторжан, членом которого состоял с основания.

И. П. Ювачев и его сын, Даниил Хармс, жили в одной квартире. У сына была своя комната, свой быт, свои интересы. Эти два человека могли показаться очень не похожими: один — воплощение рассудительности, порядка, традиционности, другой — творец алогизма, любитель беспорядочной — как он сам признавался — «чуши». Разными они показались и В. Н. Петрову, который, на наш взгляд, не воспользовался в своих воспоминаниях материалом дневников Ювачева.

А они дают представление о характере влияния отца на сына. При всей своей разности отец и сын имели единую основу, на которой строили свое миропонимание. Имя этой основы — вера в Христа.

Абсурдность, зареальность творчества Хармса еще ждет своего объяснения как религиозного действия. Дневники отца дают материал для такого понимания.

Отец выстрадал свою веру в Бога. Он не отказался от нее, несмотря на суровую критику бывших товарищей по политической борьбе. Он воспри-

⁴ Назовем из них: Паломничество в Палестину к гробу Господню. СПб., 1904; Монашество и трезвость. СПб., 1909; Тайны царства небесного. СПб., 1910; Война и вера. Очерки всемирной войны (1914—1916). Пг., 1917.

нял христианство с той же нравственной чистотой и с той же горячей юношеской верой, что и идеи народничества, когда учился в Кронштадте. Упорно передавал свою веру близким. Как трансформировалась она в творчестве Хармса — тема особых исследований.

В дневнике отец лаконично отмечает и свои беседы с сыном, и, как ему видится, повседневную жизнь сына.

В книжке LI, охватывающей период с 20 мая по 1 апреля 1931 г. читаем: «Даня едет в пионерский лагерь» (1 июля; очевидно, на «встречу с читателями» — А. А.), «Даня уехал с утра на Лахту» (3 июля), «Даня принес 4 полубутылки вина. Что же? — Гостей жду. А пришла поздно вечером одна только девица и ночевала у него. Не Эстер ли?»⁵ (6 июля). Запись через месяц — 6 августа: «Даня путается с какой-то голоштанной девчонкой». Конечно, это не могло нравиться отцу. От 12 августа: «Беседа с Даней. Сегодня видел его новую страсть». Лето 1930 г. Хармс провел в городе. Впрочем, отец видел его далеко не каждый день. «Даня получил деньги и мало бывает дома» (21 августа). Не такая ли вольная жизнь сына принудила отца к действию. В дневнике от 16 сентября читаем: «Сегодня снял копию пророка Даниила и раскрашивал его, хочу подарить сыну, который был у меня вечером в 7 одновременно с украинцем в воскресенье, и я тогда показал Дане оригинал». «Пришел ко мне Даниил и я ему даю читать мои очерки по Апокалипсису⁶. Дал ему и вчера нарисованного пророка Даниила» (17 сентября). «Даня занимался Книгой Чисел.⁷ Вечером Даня повесил образ Св. Николая в передней, Нат. Н. Дрызину у себя в комнате» (26 сентября; имеется в виду портрет Натальи Николаевны Дрызиной, воспитанницы тетки Хармса, въехавшей в это время в квартиру Ювачевых — А. А.). Веселая жизнь сына продолжается: «У Даниила ночью пир: пять рюмок на кухне. Я плохо спал» (10 октября). Запись от 14 октября: «Сегодня открытие периода — в 39 лет — между событиями революции в России». На следующий день: «Нарисовал Дане картину Русской истории в связи с периодом в 39-летие, о котором вчера писал. Это его очень тронуло».

⁵ Эстер Александровна Русакова — первая жена Хармса, в 1930 г. находилась с ним в разводе.

⁶ Ювачев И. Апокалипсис и его толкователи. — В кн.: Андрей, архиепископ Кесарии Каппадокийской. Апокалипсис. СПб., 1910.

⁷ Одна из пяти книг Моисеевых, входит в Ветхий завет.

Сын продолжает огорчать отца веселыми пирушками. «У Дани минувшей ночью опять пьянственная компания», ядовито пипет отец 15 ноября.

Запись от 21 ноября: «Сегодня Дани просил разбудить его в 12 дня. Я будил, но он не встал. Дани просил разбудить его запиской в стихах.» 22 ноября «...» Дани опять стихотворением просил разбудить его в 10. Я пошел его будить, стал у кушетки и запел из Травиаты «Милый сын, мой дорогой, возвратись под кров родной!» – и дальше не мог, чтобы не расплакаться...» Сын, как и отец, интересовался мистическим значением числа в древние времена. 21 декабря 1930 г. в новолуние, когда, как писал Ювачев, совершился «поворот и Солнца и Луны» он дал для чтения сыну брошюру А. И. Садова «Знаменательные числа».⁸

В день рождения сына 30 декабря следующая запись: «Ходил в ц. Ник.-Успенского. В 10 утра отнес в комнату сына: 1. просфору, 2. вино, 3. книги, приложил поздравление.

Первый юбилей Даниила Ивановича Ювачева-Charms

Лет двадцать пять со дня рожденья.
Сегодня, в праздник именин,
Тебе приносим поздравленья,
Семь книг и к ним вина графин.»

Прочитируем еще две интересные записи, характеризующие отношения отца и сына: «Был у меня Дани в 4 ч., когда я обедал, и беседовал со мною о символических знаках и их происхождениях» (22 января 1931 г.). «Был у меня Дани и рассказывал о самоедах и условиях их жизни. О диких животных.» (6 февраля).

Записи во второй книжке-дневнике, находившейся у Петрова, относятся к 1932 г. Первая часть книжки выдрана. Полагаем, что она имела номер LIV. Дневник заканчивается записями, приходящимися на апрель 1932 г. Начинается дефектная рукопись с записи 7 февраля. Все это время Хармс находился под следствием в Доме предварительного заключения. Хармса, а также его друзей по работе в детских журналах, обвинили в антисоветской деятельности.⁹ Весь февраль и март отец безуспешно пытался добиться свидания с сыном. Об этом свидетельствуют записи в дневнике.

⁸ Садов А. И. Знаменательные числа. СПб., 1909. Профессор Садов печатал свой труд в ж. «Христианское чтение», возможно, Ювачев был знаком с ним.

⁹ См.: Мальский И. Разгром ОБЭРИУ: материалы следственного дела // Октябрь, № 11, 1992. С. 166–191.

Только 9 апреля состоялось свидание отца с сыном. Ювачев описывает свое первое впечатление от свидания: «мне он показался «библейским отроком» (27 лет!) Исааком или Иосифом Прекрасным. Тоненький, пуленький. А за ним пышно одетый во френч, здоровый, полный, большой Коган (главный следователь — А. А.) Нас оставили вдвоем, и мы сидели до 3 1/2. Нам принесли чаю, булок, папиросы. Я подробно рассказывал, о чем он спрашивал. Больше говорили, что пить, что есть, во что одеться и куда вышлют. От него пошел к (прзб) Гартману. Он повторил, что и Дня — его на 3 года в ссылку. Но это не окончательно. Полагают смягчить...» 11 апреля свидание с племянником получила и его тетка — Н. И. Колюбакина. Ювачев записал и ее впечатление от встречи с Хармсом. «Ей дали один час в присутствии агента ГПУ. У нее было другое впечатление от Дани: ему в тюрьме очень худо, он бледен, слаб с таким же нервным подергиванием на лице, как и прежде. Т. е. впечатление совершенно обратное, чем у меня...»

Из записной книжки Хармса, находящейся в частном собрании, известно, что он был освобожден из заключения 18 июня 1932 г. 13 июля этого же года он был выслан в Курск, 18 ноября ему разрешили возвратиться в Ленинград. Наказание было сравнительно мягким, но оно как проклятие висело над Хармсом и послужило в конечном счете причиной его второго ареста в 1941 году, приведшего к смерти.